

ПЯТЕРИЦА

ЦИКЛ ИЗ ПЯТИ КНИГ · КНИГА ПЯТАЯ

ПУТЬ КРЕСТА

Четырнадцать станций. Одна память. Одна дверь.

РОМАН

АЛЕКСАНДР ЖАРКОВ

18+

МОСКВА · 2026

Александр Жарков

Путь Креста

<https://litres.ru/74679927>

SelfPub; 2026

Аннотация

Каждую пятницу Мария Ветрова проходит четырнадцать станций Крестного пути через Москву. Каждая станция забирает у неё часть памяти: имя, лицо, голос. В городе кто-то убивает людей на этих же станциях — и оставляет у них во рту старые жетоны московского метро и красную нить. Полиция считает убийцей Марию. Чтобы дойти до последней станции и закрыть дверь, ей придётся вспомнить то, что она пыталась забыть, — и не потерять сына. Завершающий роман цикла «Пятерица».

Содержание

Пролог. Третья станция	4
Глава 1. Станция первая. Осуждение	13
Интерлюдия I. Мальчик, который рисует метро	27
Глава 2. Станция вторая. Крест	34
Глава 3. Станция третья. Первое падение	47
Интерлюдия II. Протокол	59
Глава 4. Станция четвёртая. Мать	67
Конец ознакомительного фрагмента.	68

Александр Жарков

Путь Креста

Пролог. Третья станция

Пятница, 16:10. Зарядье.

Я стою на коленях в снегу, и снег под моими коленями уже не белый. Он розовый, как будто кто-то разлил компот. Я смотрю на женщину в сером пальто и не могу вспомнить, как её зовут.

Она лежит лицом вверх. Глаза открыты. На губах у неё — тонкая полоска льда. Во рту — металлический жетон московского метро, выпуска 1935 года. Я знаю, что он 1935-го, потому что у меня такой же лежит дома в шкатулке. Мне его оставил Павел.

Жетон блестит. На нём выбита буква «М».

Парк здесь построили на месте, которое сначала снесли, потом вырыли, потом накрыли стеклянной коркой. Под коркой — музей, паркинг, переходы и стены, которых нет ни на одной схеме. Экскурсоводы говорят: «Исторический ландшафт». Я говорю: «Котлован». Разница в том, что в котлован иногда что-то падает.

Женщине лет шестьдесят. Может, больше. Седые волосы коротко стрижены, как у школьной учительницы. Руки без

перчаток, пальцы длинные, на указательном — светлая полоска от кольца. В кармане пальто — напёрсток. Я вижу его, потому что карман порот. Напёрсток стальной, потёртый, с одного края отполирован до блеска. Женщина, которая много шьёт, держит напёрсток именно так.

У неё на левом ботинке развязался шнурок. Я смотрю на шнурок и думаю: кто-то должен был его завязать. Потом думаю: она шла, и шнурок развязался, и она не заметила, потому что шла быстро. Люди, которые идут быстро, всегда что-то не замечают. Потом это что-то находят на снегу.

Красная нитка на пальто пришита не к петле. Она пришита к подкладке, у самого шва, мелким стежком. Так пришивают метку. Так мама помечала мои варежки в детском саду, чтобы я не потеряла. Я теряла. Она пришивала снова.

Я не знаю, кто эта женщина. Я не знаю, почему она здесь. Я знаю только, что она умерла не в первый раз.

— Мария, — говорит Аркадий у меня за спиной. — Не трогай.

Я не трогаю. Я просто смотрю.

Вокруг нас ходит ветер. Он несёт снег с Москвы-реки и запах бензина. Где-то наверху, на парящем мосту, смеются туристы. У них селфи и кофе. Они не видят нас. Парк Зарядье умеет прятать то, что не должно быть видно.

Мимо проходит женщина с ребёнком на плечах. Ребёнок показывает пальцем вниз. Женщина поправляет шарф и ускоряет шаг. Она не видит. Или видит, но выбирает не ви-

деть. В Москве это называется «нездоровый интерес».

— Она была вычеркнута, — говорит Аркадий.

— Я знаю.

— Ты знаешь?

— У неё нет тени.

У неё нет тени, но есть отражение. В стеклянной стене павильона отражается снег, фонарь, моё колено — и пустое место там, где лежит она. Отражение — это тоже память. Только вчерашняя.

Я видела эту женщину раньше. Не здесь. В детстве, на кухне, когда мама чинила моё пальто. Она сидела на табуретке у окна, держала иголку во рту и говорила: «Не дёргайся». Я не помню её лица. Я помню иголку. И красную нитку. И то, как она сказала: «Если порвётся — приходи, я зашью». Потом она ушла на четырнадцатую и не вернулась. Пальто я выбросила. Нитку оставила.

Аркадий молчит. Он смотрит на женщину, потом на жетон, потом на меня.

— Нам нужно идти, — говорит он. — Ты не можешь здесь оставаться.

— Я не могу уйти.

— Можешь.

— Если я уйду, она исчезнет.

— Она уже исчезла. Двадцать лет назад, может, больше. — Аркадий приседает рядом. Его колено хрустит. С тех пор как он стал смертным, у него всё хрустит. — Мария. Посмот-

ри на меня.

Я смотрю. У него серые глаза и шрам на горле. Он когда-то был монахом-палачом, а теперь работает сторожем в церкви. Он умеет говорить с людьми, которых нет.

— Ты помнишь, как её зовут? — спрашивает он.

— Нет.

— А как зовут тебя?

— Мария Ветрова.

— А сына?

— Кирилл.

— Хорошо. — Он берёт меня за руку. — Значит, ещё не всё потеряно.

— Двадцать лет? — Я смотрю на жетон. — Она умерла сегодня.

— Она умерла в девяносто восьмом. А сегодня её убили. Это разные вещи.

— Ты можешь говорить нормально?

— Я пытаюсь. — Он вытирает снег с колена. — Когда человека вычеркивают, он не умирает. Он перестаёт быть. Тело остаётся. Оно ходит, ест, спит. Но имени нет. Памяти нет. Если такое тело убить, оно наконец умирает по-настоящему. Понимаешь?

— Нет.

— Хорошо. Значит, ты ещё человек.

Третья станция называется «Первое падение». Христос падает под тяжестью креста. Я стою на коленях в снегу. Зна-

чит, я уже упала. Дальше будет легче — так мне говорили. Мне говорили это двадцать лет, и каждый раз было тяжелее.

Зарядье — место, где Москва показывает туристам, что у неё есть прошлое. Прошлое здесь аккуратно сложено в витрины, подсвечено и продаётся за девятьсот рублей с аудиогидом. Настоящее лежит в снегу и никого не интересует.

Сирена. Где-то за спиной, у выхода из парка, вспыхивают красные и синие огни. Полиция. Кто-то вызвал. Может быть, тот, кто оставил тело. Может быть, тот, кто наблюдает за мной из толпы.

Из-за павильона выходят двое. Молодой сержант с красными от ветра ушами и мужчина в сером пальто, без формы. Мужчина не спешит. Он смотрит на тело, потом на меня, потом на мои руки. У него в кармане блокнот, и он его не достаёт. Это хуже. Люди, которые не достают блокнот, запоминают наизусть.

— Это вы вызвали? — спрашивает сержант.

— Нет.

— Вы её знаете?

— Нет.

Мужчина в сером пальто смотрит на меня ещё секунду. Потом говорит сержанту:

— Оцепи. И вызови труповозку.

Голос у него усталый, как у человека, который вызывает труповозку чаще, чем скорую.

— Ваши документы, — говорит сержант мне.

Я достаю паспорт. Он листает, смотрит на прописку, потом на меня.

— Вы здесь живёте?

— Нет.

— А почему здесь?

— Гуляю.

— В Зарядье?

— Я люблю стекло.

Сержант возвращает паспорт. Мужчина в сером пальто смотрит на меня ещё раз и говорит:

— Подождите у выхода. Я с вами поговорю.

— Хорошо.

Мы не ждём. Аркадий уже тянет меня за рукав.

За нами идёт парень в пуховике и снимает на телефон. Не нас. Тело. Через час это будет в сети, и кто-то напишет: «Опять Зарядье». Кто-то напишет: «Криминал». Кто-то напишет: «Снег». Никто не напишет: «Женщина».

Аркадий поднимает меня.

— Уходим.

— А она?

— Её найдут. И, может быть, вспомнят.

Он тянет меня к подземному переходу. Я оборачиваюсь. Женщина в сером пальто лежит в снегу, и снег идёт ей на лицо, и не тает. На её пальто — красная нитка. Одна. Аккуратная, как стежок.

Я знаю, что это значит. Я видела такую нитку раньше. В

детстве. На мамином пальто.

— Аркадий, — говорю я. — Это она.

— Кто?

— Швея.

Он останавливается. Впервые за весь день я вижу, как он боится.

— Ты уверена?

— Да.

— Тогда нам нужно попасть на четырнадцатую, — говорит он. — Сегодня.

— Я не могу.

— Можешь.

— Я никогда не доходила до четырнадцатой.

— Сегодня дойдёшь.

— Почему?

— Потому что иначе она дойдёт первая.

— Сегодня? — спрашиваю я.

— Сегодня. В двадцать один ноль-ноль.

— А если я не дойду?

— Тогда она дойдёт. И город забудет не одного человека.

Он забудет всех.

— Ты преувеличиваешь.

— Я бывший палач, — говорит он. — Я не умею преувеличивать. Это профессиональное.

— А что будет с ней? — спрашиваю я.

— Её похоронят. Как человека. Впервые за двадцать во-

семь лет у неё будет могила и имя на табличке.

— Ты знаешь её имя?

— Нет. Но узнаю.

— Как?

— По жетону. — Он смотрит на её губы. — Жетоны не случайны. Каждый — чей-то проезд. Кто-то ехал, когда его вычеркнули. Жетон остался. Это единственное, что не забывается.

— Ты придумываешь.

— Я не придумываю. Я помню. Это разные вещи.

Он тянет меня в переход. Под землёй тепло, пахнет мокрым бетоном и шаурмой. Где-то играет скрипач. Я иду за Аркадием и считаю шаги. Один. Два. Три.

Скрипач играет «Группу крови». В переходе холодно, и смычок у него идёт неровно. Я думаю: если он доиграет до конца, я обернусь. Он не доигрывает.

На четвёртом шаге я забываю, как звали мою мать.

За шесть часов до этого.



Карта Крестного пути: четырнадцать станций, соединённые красной нитью

Глава 1. Станция первая. Осуждение

Пятница, 09:00. Замоскворечье.

Утром Кирилл рисует метро.

Он сидит на полу в коридоре, вокруг него — листы ватмана, цветные карандаши и три линейки. Он рисует схему, которой нет: станции с названиями, которых не существует. «Пятая печать». «Тихий стол». «Дверь».

Вчера там были «Молочный переулок» и «Карандашная фабрика». Сегодня они зачёркнуты. Кирилл не любит, когда схемы устаревают.

— Мам, — говорит он, не поднимая головы. — А если ангел — это должность, у него есть начальник?

— Наверное.

— А у начальника есть начальник?

— Наверное, тоже.

— А самый главный?

— Не знаю.

— Я знаю. — Он рисует квадратик и ставит в нём галочку.
— Вакансия.

Он подчёркивает слово дважды. У него почерк как у меня — с наклоном влево, будто буквы идут против ветра.

Я наливаю чай. Руки дрожат. Сегодня пятница. Я просы-

паюсь с этим чувством каждую пятницу: как будто внутри меня кто-то поставил будильник, который звонит не в ушах, а в костях.

На кухне пахнет мокрой шерстью и подгоревшим хлебом. Я не помню, как включала тостер. Тост чёрный, но я всё равно его ем. Мне кажется, если я не съем, начнётся что-то плохое. Это, конечно, не логика. Это привычка.

— Мам, — говорит Кирилл. — Ты сегодня пойдёшь?

— Не знаю.

— Пойдёшь.

— Почему ты так думаешь?

— Потому что ты уже собралась. — Он кивает на мою сумку. — Там зонт и твоя тетрадь.

Я смотрю на сумку. Он прав. Я не помню, как её собирала.

— Кирилл, — говорю я. — Если я сегодня не вернусь...

— Ты вернёшься.

— Послушай меня.

— Нет. — Он поднимает голову. У него мои глаза и чужая упрямая складка между бровей. — Ты всегда возвращаешься. Просто иногда не помнишь, что вернулась.

Он прав. Это самое страшное. В воскресенье ему десять. Я помню это хуже, чем должна.

Я сажусь рядом с ним на пол. Снег за окном идёт медленно, как будто город никуда не спешит. На кухне капает кран. В соседней квартире ругается телевизор.

За окном дворник сыплет соль на ступеньки. Соль у него в

ведре, ведро обёрнуто тряпкой, чтобы не гремело. Он всегда так делает. Я знаю это, потому что каждую пятницу смотрю в окно и каждый раз удивляюсь, как будто вижу впервые. Память у меня устроена как плохая библиотека: книги есть, каталог потерял.

— Мам, — говорит Кирилл. — А в школе сказали, что в воскресенье будет чаепитие.

— В воскресенье у тебя день рождения.

— Я знаю. Я сказал, что принесу пирог.

— Ты сказал.

— А ты испечёшь?

— Испеку.

Я не помню, умею ли я печь. Но я помню, что обещала. Это почти одно и то же, только хуже.

— Я люблю тебя, — говорю я.

— Я знаю, — говорит он. — Ты мне это вчера говорила.

— А сегодня скажу ещё раз.

— Хорошо. — Он улыбается. — Только не забывай.

— Мам. А у папы есть станция?

— Есть.

— Какая?

— Я не помню названия.

— Тогда я нарисую. — Он берёт чёрный карандаш и рисует квадратик на свободной ветке. — «Павел». Вот.

— Почему чёрный?

— Потому что он не приехал.

Я достаю тетрадь. Она толстая, в клетку, с загнутыми уголками. На первой странице — список.

«НЕ ЗАБУДЬ:

1. Кирилл. 9 лет. День рождения — 12 апреля.
2. Мама. Анна Ветрова. Ушла на 14-й станции в 2024 году.
3. Павел. Отец Кирилла. Исчез в 2018-м. Лицо стёрто.

Ключ.

4. Не соглашайся на 14-ю.
5. Если найдёшь швею — не смотри ей в глаза».

Я перечитываю. Каждый раз, когда я читаю, я проверяю, помню ли я то, что написано. Сегодня я помню Кирилла. Маму — помню, но не вижу её лица. Павла — не помню совсем. Швею — не помню, но рука сжимается в кулак.

На последних страницах — то, что я записываю каждый вечер: что было сегодня, чтобы завтра проверить. Иногда там стоит: «Пятница. Была на пути. Вернулась. Кто-то был рядом». Иногда: «Не помню, как вернулась». Одна запись повторяется чаще других: «Проверить, что Кирилл — настоящий». Я не помню, кто это написал. Почерк мой.

Вчерашняя запись: «Купила молоко. Кирилл сказал, что я купила его вчера. Проверить холодильник». Я проверила. В холодильнике стояли два пакета молока. Один с трещиной. Я не помню, как их покупала.

— Мам, — говорит Кирилл. — А что такое «швея»?

Я вздрагиваю.

— Откуда ты знаешь?

— Ты вчера во сне говорила. «Швея идёт».

— Я не помню.

— Я запомнил. — Он смотрит на меня. — Ты всегда согласишься запоминать за тебя.

Я обнимаю его. Он пахнет шерстью и карандашами.

В 10:30 я звоню на работу и говорю, что у меня температуру. Руслан из дистанции эскалаторов спрашивает про наклонный ход на «Полянке». Я говорю, что температура. Он говорит: «Ты каждый месяц болеешь по пятницам». Я говорю: «Хроническое». Он вздыхает и кладёт трубку. Руслан хороший. Он не задаёт второй вопрос.

В 11:00 я стою в храме Трёх Свидетелей.

Храм небольшой, XVII века, с кривым притвором и иконой, на которой четыре фигуры вместо трёх. Я захожу сюда не потому, что верю. Я захожу сюда потому, что здесь меня никто не ищет. Отец Алексей слышит, как я вру про температуру, но не говорит ничего.

В притворе меня встречает Глеб — свечник, староста, человек с ключами. Ему сорок, у него гладко выбритое лицо и привычка отвечать на вопросы, которые ему не задавали.

— Мария Андреевна. Сегодня не надо.

— Надо.

— Вы понимаете, что о вас говорят?

— Понимаю.

— Тогда объясните мне. Люди приходят в храм. Люди уходят. Некоторые не возвращаются. И каждый раз — вы.

— Я не забираю людей, Глеб.

— Я не говорил, что забираете. Я говорю, что говорят.

— Это разные вещи.

— Для вас — разные. Для прихода — нет.

— Мария, — говорит отец Алексей. — Вы сегодня рано.

— Мне нужно посидеть.

— Садитесь.

Я сажусь на скамью у стены. На коленях — тетрадь. На плече — сумка. В кармане — латунный ключ с надписью «ДВЕРЬ ПОМНИТ». Я не помню, откуда он у меня. Но он тёплый.

Отец Алексей садится рядом. Он высокий, сутулый, в очках с треснувшим стеклом. У него усталые глаза человека, который слишком много слушает.

— Сегодня пятница, — говорит он.

— Да.

— Вы пойдёте.

— Да.

— Вам помочь?

— Нет. — Я смотрю на икону. — Мне нельзя помогать.

Если кто-то вмешивается, путь удлиняется.

— Кто это сказал?

— Мама.

— Ваша мама?

— Да. — Я смотрю на него. — Вы её помните?

Он молчит. И по его молчанию я понимаю: помнит. Мо-

жет быть, он единственный, кто помнит.

— Анна Ветрова, — говорит он. — Она приходила сюда в 2013-м. Просила записать её имя в книгу.

— В какую книгу?

Он не отвечает. Вместо этого достаёт из кармана сложенный лист бумаги.

— Посмотрите.

Я разворачиваю. На листе — список имён. Пять строк. «Ковалёв. Слепцова. Одинцов. Тихонов. Ветрова». Против последней — карандашная пометка: «пришла».

Бумага плотная, желтоватая, с водяным знаком: круг, а в нём крест. Такая бумага старше храма.

— Что это?

— Я не знаю точно. — Он говорит медленно. — Это страница из очень старой книги. В ней пять фамилий. Ваша — последняя. И, судя по пометке, вы уже в списке.

— Я не просила меня вписывать.

— Никто из нас не просил.

Я смотрю на лист. Внизу — фраза: «Я не сужу. Я помню».

— Кто это написал?

— Не знаю. — Он улыбается. — Но я слышал этот голос.

В этот момент открывается боковая дверь, и входит женщина.

Она в дешёвой шубе, лет пятидесяти пяти, с пластиковой папкой под мышкой. Она не крестится и не покупает свечу. Она идёт прямо ко мне.

— Вы Ветрова?

— Да.

— Мария Андреевна?

— Да.

— Мой сын, Дима, пропал в 2019-м. — Она открывает папку. Внутри — фотографии, справки, ксерокопии. — Двадцать три года. Работал в Метрострое. Вы его знали.

— Я не помню.

— Вы стояли рядом. На «Кропоткинской». Вы смотрели в сторону. — Она говорит ровно, как будто читает показания. — Он вам что-то сказал. И вы ушли.

— Я не помню.

— Вы всем так говорите.

— Тамара Ильинична, — говорит Глеб. — Здесь не место.

— А где место? — Она поворачивается к нему. — В полиции? Я была в полиции. Они сказали: «Ушёл из дома». Он не уходил. У него были ключи, деньги, билет на концерт. Он не уходил.

— Тамара Ильинична.

— Она ходит по пятницам, — говорит женщина, глядя на меня. — И люди исчезают. Вы это знаете? Вы это знаете.

— Да, — говорю я.

Она замолкает. Я не оправдываюсь. Я не говорю, что это не моя вина. Я говорю «да», потому что это правда: люди исчезают, и я хожу по пятницам.

— Скажите, что вы не виноваты, — говорит она вдруг. —

Ну. Скажите.

— Я не могу.

— Почему?

— Потому что не знаю.

Она смотрит на меня долго. Потом закрывает папку.

— У вас сын, — говорит она. — Я знаю. Я видела его в школе. Дай вам Бог не забыть его.

Она уходит. Дверь хлопает. В храме пахнет холодом.

— Вот видите, — говорит Глеб.

— Да, — говорю я.

Отец Алексей подходит. В руках у него маленькая чёрная тетрадь.

— Тамара Ильинична приходила не к вам, — говорит он.

— Она приходила к своему сыну. Вы просто стояли на месте, где он должен был стоять.

— Она права.

— Может быть. А может быть, вы просто удобная.

Он открывает тетрадь и пишет: «Димитрий». Без фамилии. Просто имя.

— Я не сужу, — говорит он. — Я помню.

— Это вы сказали?

— Нет. Я услышал.

— От кого?

— От вас. Однажды.

Я не помню этого. Я вообще мало что помню. Но я верю ему, потому что у него треснувшие очки и потому что он не

пытается меня утешить.

Я иду за ним в придел. Там темно и пахнет воском. Он садится на табурет, я — на низкую скамью. Между нами — не решётка, а просто воздух.

— Я не на исповедь, — говорю я.

— Я знаю.

— Я не верю.

— Я знаю.

— Тогда зачем вы меня слушаете?

— Потому что вы говорите.

Я молчу. Потом говорю то, чего не говорила никому:

— Я не помню, когда в последний раз была хорошей матерью. Я помню, что кормила. Помню, что водила в школу. Помню, как он болел, и я сидела рядом. Но я не помню, чтобы я его любила. Я знаю, что люблю. А помню только список дел.

— Это не грех, — говорит он.

— Это хуже.

— Хуже чего?

— Хуже греха. Грех можно исповедовать. А это нельзя.

Он смотрит на меня. У него треснувшее стекло в очках, и через трещину его глаз кажется разрезанным.

— Мария, — говорит он. — Вы сейчас сказали не о себе. Вы сказали о болезни. Болезнь забирает не любовь. Она забирает доказательства. Любовь остаётся, а доказательств нет. Вы живёте без доказательств. Это не грех. Это подвиг.

— Я не хочу подвига.

— Я знаю. — Он вздыхает. — Никто не хочет. Подвиг — это когда выбора нет, а ты всё равно идёшь.

Я смотрю на икону. Четвёртая фигура без лица. Я всегда думала, что это ангел, который не дорисован. Теперь думаю: может быть, это место для человека.

— Я могу записать? — спрашиваю я.

— Что?

— Всё, что я помню. В книгу.

— В какую?

— В вашу.

— У вас есть своя, — говорит он. — Она толще.

Он встаёт. У двери оборачивается.

— И ещё. Если сегодня вы встретите женщину в сером пальто, — говорит он, — не смотрите ей в глаза. Но если посмотрите — не отводите.

— Это противоречие.

— Это инструкция.

Через час приходит Аркадий.

Он в тёмной куртке, с рюкзаком, на котором висит маленькая иконка. Он кивает Алексею, потом смотрит на меня.

— Время.

— Ты опоздал, — говорит Алексей.

— Я не опоздал. Я пришёл вовремя. Это время опоздало.

Аркадий снимает шапку. У него седая прядь, которой не было в прошлом году. Я не помню, когда она появилась.

Я встаю.

— Аркадий, — говорит Алексей. — Не отпускайте её одну.

— Не отпущу.

— Я не про это.

Аркадий смотрит на него. Потом на меня. Потом на часы, которые снова идут.

— Я знаю, — говорит он.

Он достаёт из рюкзака вторые перчатки. Шерстяные, серые, с растянутыми пальцами.

— Надень, — говорит он. — Твои промокли.

— Я не помню, чтобы они промокли.

— Ты стояла в снегу.

— Я не помню.

Он не спорит. Он берёт мою руку и натягивает перчатку. Пальцы у него холодные и твёрдые, как у человека, который много работал руками и мало их берёг. Я не отнимаю руку. Это не нежность. Это проверка: если он сейчас отпустит, я узнаю, что он боится. Он не отпускает.

— Аркадий.

— Да?

— Ты веришь, что я дойду?

— Нет.

— Спасибо.

— Я верю, что ты не одна, — говорит он. — Это другое.

Он застёгивает молнию на моей сумке. Сумка старая, мол-

ния заедает. Он дёргает её дважды и говорит: «Потом почи-
ню». Я почему-то запоминаю это. Не «починю», а «потом».
У нас есть потом. Это уже немало.

Мы выходим из храма в 14:40. Снег идёт. Улица Пятниц-
кая пахнет кофе и мокрым асфальтом. Люди идут мимо, не
глядя на нас. У них свои пятницы, свои списки, свои потери.

На углу стоит Тамара. Она не смотрит на меня. Она смот-
рит на храм. Потом переходит дорогу и идёт в сторону мет-
ро. Я думаю: у неё есть пять минут, чтобы меня ненавидеть.
У меня нет ни одной, чтобы объясниться.

В 14:55 мы подходим к храму снова. Путь начинается
здесь. Всегда здесь.

— Мария, — говорит Аркадий. — Если ты захочешь оста-
новиться...

— Я не смогу.

— Сможешь. Я буду рядом.

— Ты не понимаешь. — Я смотрю на часы. — Он не спра-
шивает.

Секундная стрелка доходит до двенадцати. Где-то в глу-
бине города, под землёй, звонит колокол. Никто, кроме ме-
ня, его не слышит.

Я делаю первый шаг.

На первом шаге у меня звенит в ушах. На втором город
становится на полтона ниже. На третьем я чувствую, как из
меня вынимают что-то маленькое, как гвоздь из стены. Сна-
чала не больно. Потом — дырка.

Мы идём по Пятницкой. Мимо аптеки, мимо булочной, мимо женщины, которая моет окно и не смотрит на улицу. На перекрёстке горит зелёный, но машины стоят. Водитель в первой смотрит в телефон. Пешеходы идут мимо него, как мимо столба. Город ещё не заметил, что что-то началось. Город всегда замечает последним.



Мария и Аркадий идут по снежной Москве: четырнадцать станций и красная нить

Вычеркнуто: имя моей первой учительницы. Простите. Я не помню, как вас звали.

Интерлюдия I. Мальчик, который рисует метро

В половине четвёртого Кирилл остался один.

Это было нормально. Мама уходила по пятницам, и он давно научился не спрашивать, куда. Она возвращалась вечером, иногда с мокрыми волосами, иногда с чужим запахом — ладана и мокрой шерсти. Иногда не помнила, что уже поужинала. Один раз не помнила, как его зовут. Он тогда сказал: «Кирилл», — и она заплакала. Он не любил, когда она плакала, поэтому с тех пор всегда представлялся первым.

Он разогрел суп. Суп убежал, и он выключил плиту, и открыл окно, и стоял на табуретке, чтобы достать форточку. Снег залетел на подоконник и растаял. Кирилл вытер его ладонью.

На полу лежала карта. Четырнадцать станций, соединённых красной линией. Восемь из них он придумал сам. Шесть были настоящими, но он их переименовал. «Кропоткинская» стала «Кротовой». «Полянка» — «Полыньей». «Добрынинская» — «Доброй Нины». Мама говорила, что переименовывать нельзя, это запутает пассажиров. Кирилл говорил, что пассажиры и так запутаны.

Он достал чёрный карандаш и дорисовал ветку на юг. На ветке — квадратик. В квадратике — «Павел». Он не помнил

отца. Совсем. Он знал только, что отец был, что у него были тёплые руки и что он исчез. Мама не рассказывала. Однажды он спросил, и она сказала: «Я не помню». Это был единственный раз, когда он ей не поверил.

В тетради, которую он завёл сам, на первой странице было написано:

«Кирилл. 9 лет. Мама — Мария. Мама забывает. Я помню».

Он не считал это подвигом. Он считал это работой. У всех в доме была работа: у мамы — метро, у него — память. Иногда ему казалось, что его работа важнее, но он никому не говорил.

В три часа он надел куртку.

— Ты куда? — спросила соседка, тётя Люба, которая стояла на площадке с мусорным ведром.

— В храм.

— Один?

— Я не один. Я с картой.

Тётя Люба покачала головой, но не остановила. В этом доме детей не останавливали. Здесь все были заняты.

Он вернулся, потому что забыл карту. Взял её, свернул вчетверо и положил во внутренний карман — ближе к телу. Потом сел на пол в прихожей и стал ждать.

Ждать он умел. Это было его главное умение. Он ждал маму в школе, у кабинета, где она забывала его забрать. Ждал в поликлинике, где ей делали капельницу. Ждал, когда она

стояла на кухне и смотрела на чайник так, будто видела его впервые. Он научился ждать тихо, чтобы не мешать.

В рюкзак он положил фонарик, компас, шоколадку и записку: «Я в храме. Кирилл». Подумал и дописал: «Не волнуйся. Я тебя помню».

Потом он подумал, что если мама вернётся и не вспомнит его, записка ей не поможет. Тогда он достал красный карандаш и нарисовал на записке маленькое метро. Четырнадцать станций. На последней — человечек. Человечек держал за руку другого человечка.

Он не знал, зачем это рисует. Просто рисовал.

На трамвайной остановке стояла женщина в сером пальто. Она была не старая и не молодая. У неё было лицо, которое хотелось запомнить, и поэтому оно не забывалось.

— Мальчик, — сказала она. — Ты не подскажешь, как доехать до Патриарших?

— Восьмой троллейбус, — сказал Кирилл. — Но он не ходит.

— Почему?

— Его отменили. На картах он есть, а на улице нет.

Женщина улыбнулась.

— Ты любишь карты.

— Я люблю станции.

— А имена?

— Имена тоже.

Она посмотрела на его руку. На запястье у него была крас-

ная нитка — он нашёл её утром на рукаве и завязал, потому что она была красивая.

— Ты видишь имена? — спросила она.

Кирилл посмотрел на неё. У неё над головой было пусто. Не так, как у других: у других над головой висело что-то вроде облачка, из которого шли буквы. У неё не было ничего. Как будто кто-то стёр.

— Вижу, — сказал он.

— И что ты видишь у меня?

— Ничего.

— Это плохо?

— Это странно.

Она протянула руку и поправила его шарф. Пальцы у неё были холодные.

— А если я скажу, что меня зовут Лидия?

Кирилл посмотрел ещё раз.

— Тогда вы врёте, — сказал он. — У вас нет имени.

Женщина засмеялась. Смех у неё был хороший, не злой.

— Умный, — сказала она. — В мать.

— Вы знаете мою маму?

— Все знают твою маму.

Троллейбус не пришёл. Кирилл пошёл пешком.

В храме было тепло. Агафья, худая старуха в платке, поила его чаем с сушками. Соня, девочка из прихода, рисовала на полу ангела с метлой. Кирилл сел рядом и развернул карту.

Агафья принесла чай в железной кружке. Чай пах металлом и мятой.

— Мать где? — спросила она.

— На работе.

— В метро?

— В метро.

— Там тепло, — сказала Агафья. — Под землёй всегда тепло. Только люди от этого не добреют.

Кирилл кивнул. Он любил Агафью за то, что она не задавала вторых вопросов. У неё был свой список: помыть пол, накормить детей, записать имена. Она никогда не спрашивала, почему его мать ходит по пятницам и почему после этого не помнит, как его зовут.

— Агафья.

— Что?

— А если человек забывает всех, его кто-нибудь помнит?

— Бог.

— А если нет Бога?

— Тогда я, — сказала Агафья. — Пока жива.

Она ушла за просфорами, и Кирилл остался один. Он посмотрел на дверь. Потом на часы. До половины седьмого было ещё далеко.

— Это что? — спросила Соня.

— Метро.

— Такого нет.

— Пока нет.

Он показал ей «Вакансию». Соня сказала, что это глупое название. Кирилл сказал, что это не название, а должность.

— А кто там работает?

— Никто. Поэтому и вакансия.

Соня убежала домой. Кирилл остался с картой и чашкой.

В половине седьмого дверь открылась.

Вошла женщина в сером пальто. Та самая. Она сказала Агафье, что она врач и что мальчику нужно сделать укол. Агафья ушла за документами.

Кирилл посмотрел на её руки. На указательном пальце была красная нитка.

Он не испугался. Он давно знал, что за ним придут. Он думал, что это будет кто-то скучный, из полиции, с вопросами. А пришла женщина с ниткой.

— Ты готов? — спросила она.

— Я знал, что вы придёте, — сказал Кирилл. — Я видел вас во сне.

— И что ты видел?

— Дверь. И маму за дверью.

Женщина взяла его за руку.

— Пойдём, — сказала она. — Я покажу тебе станцию, которой нет на твоей карте.

Кирилл обернулся. На полу осталась карта. На карте — «Вакансия», подчёркнутая дважды.

Он не стал брать карту. Он почему-то решил, что она ему больше не нужна. Это было первой ошибкой за весь день.

Второй была дверь.

По дороге женщина купила ему газировку. Он не стал пить, но взял, потому что не хотел её обидеть. Бутылка была холодная, и он держал её в кармане, как грелку.

Он думал, что мама придёт и всё исправит. Мама пришла позже, чем нужно. Так бывает чаще, чем хочется.

Глава 2. Станция вторая. Крест

Пятница, 15:20. Большой Москворецкий мост.

На мосту ветер сильнее. Он бьёт в лицо, как мокрая тряпка. Внизу — Москва-река, серая, с белыми пятнами льда. Кремль слева, как декорация к фильму, который все видели, но никто не помнит начала.

Я иду по левой стороне. Аркадий — в двух шагах позади. Он не пытается меня догнать. Он просто идёт. Это его способ быть рядом.

Мы договорились ещё в прошлом году, после третьей пятницы. Правила простые, как инструкция к огнетушителю: не останавливаться, не помогать, не оборачиваться, не соглашаться на четырнадцатую. Я нарушаю все четыре. Аркадий делает вид, что не замечает. Это тоже его способ быть рядом.

В тетради у меня есть карта. Я рисовала её сама, по памяти, которую теряла. Четырнадцать точек: Осуждение, Крест, Первое падение, Мать, Симон, Вероника, Второе падение, Жёны, Третье падение, Снятие одежд, Гвозди, Смерть, Снятие, Гроб. Между ними — красная линия. На полях — пометки: «Осуждение — не оправдываться», «Крест — не помогать», «Первое падение — не смотреть на тело», «Мать — не обещать», «Симон — не отказываться», «Вероника — не вытирать лицо», «Второе падение — не слушать телефон», «Жёны — не спорить», «Третье падение — не звонить до-

мой», «Снятие одежд — держаться за имена», «Гвозди — не наступать на нитки», «Смерть — не пить воду», «Снятие — не отпускать руку», «Гроб — не соглашаться».

Почерк мой. Я не помню, как это писала.

Я достаю тетрадь и проверяю список. Кирилл. Мама. Павел. Не соглашайся на четырнадцатую. Не смотри швее в глаза. Всё на месте. На обороте последней страницы я записываю: «Потеряла имя первой учительницы. Не пытаться вспомнить. Не получится». Почерк ровный. Рука не дрожит. Это плохой признак: когда рука не дрожит, значит, ты уже привыкла.

На втором шаге я вспоминаю Павла.

Это всегда так. На второй станции путь отдаёт мне не потерянное, а чужое. Как будто проверяет: помнишь ли ты, зачем идёшь.

Павел появился в моей жизни в 2015-м, в метро, на «Кропоткинской». Он стоял у карты города и спорил с картой. Я подошла и сказала, что на этой станции нет выхода к Гоголевскому бульвару. Он посмотрел на меня и сказал: «Значит, карта врёт». Мы вышли вместе. Он держал меня за руку до самого Патриарших.

Он был инженером. Работал в «Мосметрострое», как и я. Он знал подземную Москву лучше, чем наземную. Он говорил, что у города есть швы. Если по ним идти, можно найти места, где реальность провисает. Я тогда думала, что это красивая метафора.

Он исчез в 2018-м. Я помню только пустоту в документах и ключ на столе. Лицо стёрто. Когда я пытаюсь вспомнить, вижу белую стену.

Я помню больше, чем лицо. Я помню, как он пил кофе. Он всегда заказывал двойной эспрессо и выпивал оба, потому что «один — это не кофе, а извинение». Помню, как он водил пальцем по схеме и говорил: «Вот здесь шов. Видишь? Дома стоят не по линии. Значит, их переставляли». Помню, как он смеялся — коротко, одним выдохом, как будто смех был неожиданностью для него самого.

И помню, как он держал Кирилла. Он держал его неумело, обеими руками, как держат что-то очень дорогое и очень хрупкое. Он сказал: «Он будет инженером». Я сказала: «Или художником». Он сказал: «Инженером-художником. Такие бывают?» Я сказала: «Теперь будут».

В 2018-м он ушёл на ночную смену. На «Полянку». Утром его не было. Вечером его не было. Через неделю в отделе кадров сказали, что такого сотрудника никогда не существовало. Через месяц его мать сказала мне: «Павел? Какой Павел?» Она не притворялась. Она действительно не помнила. У неё на стене висела фотография сына, и она спрашивала, кто это.

Я искала его три года. Потом перестала. Не потому, что сдалась. Потому что искать человека, которого никто не помнит, — это как кричать в пустой квартире. Сначала ждёшь эха. Потом понимаешь, что стены просто стены.

Жетон 1935 года он подарил мне на Новый год. Завернул в бумажку и сказал: «Это не деньги. Это право входа». Я спросила: куда? Он сказал: «В город, который был до тебя». Я положила жетон в шкатулку и забыла. Теперь он лежит там же, рядом с его ключом. Иногда я достаю его и грею в ладони. Металл тёплый. Так не бывает.

Однажды он взял меня на ночную смену. Мы шли по служебному коридору между «Полянкой» и «Третьяковской», и он показывал швы: места, где новая стена не сходится со старой. «Здесь город перешивали», — говорил он. Я спрашивала, кто. Он говорил: «Люди, у которых была власть и иголка». Мы смеялись. Потом он остановился и сказал: «Мария, если меня когда-нибудь не станет, не ищи меня в документах. Ищи в швах». Я сказала: «Ты говоришь как сумасшедший». Он сказал: «Я говорю как инженер».

— Мария. — Аркадий касается моего локтя. — Ты плачешь.

— Нет.

— Снег тает.

Я вытираю лицо.

— На второй станции всегда так, — говорю я. — Она забирает что-то маленькое и отдаёт что-то большое.

— Что она тебе отдала сейчас?

— Павла.

— Ты его видишь?

— Нет. — Я смотрю на реку. — Я его чувствую. Как будто

он рядом.

Аркадий молчит.

— Ты его знал? — спрашиваю я.

— Нет.

— Но ты знаешь, что с ним стало.

Он не отвечает. Это ответ.

На съезде с моста, у стеклянного павильона, стоит курьер. У него сломался самокат, и он пытается удержать коробку размером с холодильник. Коробка перевязана скотчем, на боку написано: «Медицинские расходники. Не кантовать». Из-под скотча вылез уголок накладной.

— Девушка, — говорит он. — Помогите, а? Донести до перехода. Я заплачу.

Аркадий сжимает мой локоть.

— Не останавливайся.

— Ему тяжело.

— Ему все тяжело. Это его работа.

Курьер смотрит на меня. У него красные руки и прыщик на подбородке. Ему лет девятнадцать. Он похож на студента, который подрабатывает между парами.

— Я не могу, — говорю я.

— Да ладно, — говорит он. — Что вам, трудно?

— Мне нельзя.

— Всем нельзя, — говорит он. — А живём.

Коробка наклоняется. Он ловит её коленом. Один угол разрывается, и на снег высыпаются оранжевые упаковки —

что-то резиновое, медицинское, безобидное на вид. Ветер несёт их к реке. Курьер матерится и бросается собирать.

Я делаю шаг к нему. Аркадий держит.

— Мария.

— Там лекарства.

— Там резиновые перчатки.

— Ты не знаешь.

— Знаю. — Он кивает на упаковку. — Размер семь. Для осмотра.

Я смотрю на него. Потом на курьера. Потом на часы. 15:34. До девяти — пять с половиной часов.

Я иду дальше. За спиной курьер кричит: «Ну и иди! Иди!» Я не оборачиваюсь. Мне стыдно. Стыд у меня теперь вместо совести: он быстрее и не требует доказательств.

— Ты не можешь помочь всем, — говорит Аркадий.

— Я знаю.

— Тогда почему у тебя такое лицо?

— Потому что я могла помочь одному.

Он молчит. Потом говорит:

— На пути нельзя помогать. Путь — это не благотворительность. Это маршрут.

— Кто это придумал?

— Не знаю. Наверное, тот, кто хотел, чтобы дошли.

— У тебя часы идут, — говорю я.

— Идут.

— Раньше стояли.

— Двадцать лет. — Он смотрит на циферблат. — Теперь идут. Иногда отстают на минуту. Я не поправляю.

— Почему?

— Потому что минута — это всё, что я у него отнял. Пусть будет.

— У кого?

— У времени.

Он говорит это так, будто время — это человек, которого он знал.

На середине моста я останавливаюсь. У перил стоит женщина в сером пальто. Спиной. Ветер треплет её волосы.

— Мама? — говорю я.

Женщина оборачивается. У неё лицо моей матери, но глаза — как у человека, который смотрит на тебя из-под воды.

— Не останавливайся, — говорит она. — Если остановишься, ты забудешь.

— Мама.

— Иди. — Она улыбается. — И не соглашайся на четырнадцатую.

Я подхожу ближе. От неё не пахнет ничем. У живых всегда есть запах: духи, мыло, метро, табак, просто тёплая кожа. От неё — ничего. Как от бумаги.

— Ты меня видишь? — спрашиваю я.

— Вижу.

— Тогда скажи что-нибудь настоящее.

Она думает. Потом говорит:

— Ты в детстве боялась эскалатора. Ты садилась на ступеньку и держалась за мою руку. Я говорила: «Не смотри вниз». Ты смотрела.

Я смеюсь. Потом плачу. Потом смеюсь снова.

— Это было.

— Это есть, — говорит она. — Пока ты помнишь.

— Мама. Кто такая швея?

Она смотрит на реку. Ветер идёт по её пальто, но пальто не двигается.

— Женщина, которая не умеет отпускать.

— Она убивает.

— Она шьёт. Разница в том, что она думает, будто это одно и то же.

— Ты её знала?

— Я её встретила на четырнадцатой. — Мать говорит тихо, как будто читает по слогам. — Она предложила мне сделку. Я отказалась. Поэтому я здесь, а она там.

— Что она предложила?

— Тебя. — Мать смотрит на меня. — Она сказала, что если я отдам тебя, ты будешь жить. Я сказала, что жить — это не то же самое, что быть живой. Она не поняла.

Я хочу спросить ещё. Хочу спросить, что значит «отдать», и почему швея вообще предлагала, и что было потом. Но мать уже берётся за перила.

Она берётся за перила. Её пальцы проходят сквозь чугун. На перилах остаётся красная нитка, привязанная к завитку.

Узел аккуратный, двойной.

— Мама.

— Иди, — говорит она. — И не оборачивайся. Я держусь за тебя.

Она исчезает. Я стою и смотрю на нитку. Потом тяну её. Узел не поддаётся. Я рву нитку зубами. На языке остаётся вкус металла и пыли.

Аркадий не спрашивает, что я видела. Он привык.

На съезде с моста, у Зарядья, нас останавливает человек в штатском.

— Мария Андреевна Ветрова?

— Да.

— Майор Кузьмин, уголовный розыск. — Он показывает удостоверение. — Вы были здесь в прошлую пятницу?

— Я здесь каждую пятницу.

— Это странно.

— Это моя работа.

— Вы работаете в метро.

— Здесь тоже есть подземные коммуникации.

Он смотрит на меня. У него усталое лицо и глаза человека, который давно не верит в совпадения.

— В прошлую пятницу в Зарядье нашли тело, — говорит он. — Женщину. Без документов. Никто не знает, кто она.

— Мне жаль.

— Вы её знали?

— Нет.

— Странно, — говорит он. — У неё в кармане была ваша фотография.

Я не двигаюсь.

— Моя?

— Ваша. Молодая. С ребёнком. — Он достаёт пакет. В пакете — фотография. На ней я, лет двадцать пять, и Кирилл, года два. Мы стоим у метро. Я не помню, когда это было снято. Но фотография настоящая.

Я помню эту куртку. Синюю, с оторванной пуговицей. Я носила её три года. Я не помню, кто нас снимал. На фотографии я смеюсь. Я не помню, чтобы я тогда смеялась.

— Я не знаю, как она у неё оказалась.

— Я тоже, — говорит Кузьмин. — Поэтому и спрашиваю.

— У вас есть враги? — спрашивает он вдруг.

— У меня есть работа.

— Это не ответ.

— Это единственный ответ, который у меня есть.

Он кивает. Потом говорит, тише:

— Я двадцать лет в розыске. Я видел много людей, которые врут. Вы не врёте. Вы просто не помните. Это хуже.

— Почему хуже?

— Потому что с врущим можно договориться. С забывшим — нельзя.

Он достаёт блокнот, но не открывает.

— Вы знаете, что все тела — женщины?

— Нет.

— Три женщины. Разного возраста. Ни одной в базах. Ни одной родственницы. Ни одного заявления. Как будто их никто не ждал.

— Их ждали, — говорю я.

— Кто?

— Те, кто помнит.

Он смотрит на меня. Потом говорит:

— Вы понимаете, что говорите?

— Нет.

— Вот и я нет. — Он убирает блокнот. — У меня есть версия. Серийный убийца. Мужчина, скорее всего одинокий, с профессией, связанной с тканью. Швея, портной, закройщик. Он убивает женщин, которых никто не ищет, и оставляет им билет в метро. Ритуальный жест. Он хочет, чтобы их заметили. Это классика.

— Это не классика.

— Это моя работа. — Он пожимает плечами. — Мне платят за классику.

— А если это не мужчина?

— Тогда женщина. — Он смотрит на меня. — Женщина, которая ненавидит женщин. Тоже классика.

— Вы в это верите?

— Я верю в отпечатки, — говорит он. — И в свидетелей. Пока у меня нет ни того, ни другого. У жетонов нет отпечатков. У пальто нет бирок. У женщин нет прошлого. Вы понимаете, как это выглядит?

— Как вымысел.

— Как идеальное преступление, — говорит Кузьмин. — Или как чья-то очень плохая шутка.

Аркадий делает шаг вперёд.

— Майор, — говорит он. — Мне нужно поговорить с вами. Не здесь.

Кузьмин смотрит на него. Потом на меня. Потом на часы.

— У вас пять минут.

Они отходят к ограде. Я стою и смотрю на Зарядье. Парк, стеклянный купол, туристы. Под землёй — паркинг, переход, старые стены. Третья станция уже ждёт.

Я вижу, как Аркадий говорит. Он не размахивает руками. Он вообще не двигается, только наклоняет голову. Кузьмин слушает. Потом достаёт сигарету, но не закуривает. Потом убирает. Потом смотрит на меня через его плечо. Взгляд у него меняется. Не страх. Что-то хуже. Жалость.

Через пять минут Аркадий возвращается один.

— Что ты ему сказал?

— Правду.

— Какую?

— Что ты не убийца. — Он берёт меня под руку. — Он не поверил. Но он не будет мешать. Пока.

— Пока?

— Пока не найдёт ещё одно тело.

— И что тогда?

— Тогда он начнёт искать не убийцу, а объяснение. А объ-

яснений у нас нет.

Мы спускаемся в переход. На ступеньках — снег и мокрые следы. На стене — реклама кофе. На полу — красная нитка.

Вычеркнуто: дорога к маминой даче. Я помню, что она была. Не помню куда.

Глава 3. Станция третья. Первое падение

Пятница, 16:05. Зарядье, подземный переход.

Мы спускаемся по ступенькам, и я считаю: одна, две, три. На седьмой Аркадий берёт меня за локоть.

— Не считай.

— Почему?

— Потому что считать — это помнить. А тебе сейчас нельзя.

— Мне нужно вызвать полицию.

— Не нужно.

— Там тело.

— Там женщина, которую двадцать восемь лет никто не видел. — Он говорит тихо. — Если мы вызовем полицию, они приедут, составят протокол и увезут её в морг. А через неделю её забудут снова. Ты этого хочешь?

— Я хочу, чтобы её похоронили.

— Её похоронят. Но сначала её должны увидеть. — Он кивает вниз. — Иди.

Тело лежит между колонной и стеной, там, где камеры не достают. Женщина в сером пальто. Я уже видела её сегодня. В прошлую пятницу. В прошлом году. Я не знаю.

Она лежит лицом вверх. На губах лёд. Во рту — жетон

метро. На пальто — красная нитка.

— Не подходи, — говорит Аркадий.

Я подхожу.

Я не хочу. Ноги сами. Путь не спрашивает.

Я опускаюсь на колени. Снег под коленями розовый. Я смотрю на женщину и жду, когда память вернётся.

Она не возвращается.

Я смотрю на её руки. Ногти короткие, обкусанные, на среднем — след от иглы. На левом запястье — светлая полоска от часов. Часы сняли. Или они исчезли вместе с именем. У вычеркнутых вещи исчезают не сразу: сначала часы, потом документы, потом лицо. Пальто остаётся дольше всего. Пальто — это последнее, что помнит тело.

Когда я касаюсь её пальто, я вижу класс. Солнце в окнах, тридцать парт, на стенах — карты. Нина Сергеевна стоит у доски и пишет мелом: «Реки не текут назад». На партах лежат контурные карты, синие, как вены. Она оборачивается и смотрит прямо на меня.

— Ты пришла, — говорит она. — Я знала, что кто-то придёт.

— Кто вас убил?

— Я сама. Я согласилась.

— На что?

— На имя.

Видение кончается. Я стою на коленях в переходе, и рука у меня в кармане её пальто.

— Кто она? — спрашиваю я.

— Не знаю, — говорит Аркадий.

— Ты должен знать. Ты был в Канцелярии.

— Был. — Он смотрит на жетон. — Это не наша работа.

Канцелярия не оставляет тел.

— А кто оставляет?

— Тот, кто хочет, чтобы тело нашли.

Я протягиваю руку и касаюсь её пальто. Ткань холодная и жёсткая, как картон. Под пальто — бумажка. Я вытаскиваю её.

Это фотография. На ней — я и Кирилл. Та же, что показывал майор. На обороте — надпись красными чернилами, аккуратным почерком:

«Она была первой. Ты будешь последней. Не заканчивай путь — найди швею».

— Аркадий.

Он читает. Его лицо не меняется. Только желваки.

— Это она, — говорит он.

— Швея?

— Лидия.

Я не знаю этого имени. Но Аркадий знает. И по тому, как он его произносит, я понимаю: это не чужой человек.

— Кто такая Лидия?

— Моя сестра.

В переходе становится тихо. Даже скрипач наверху перестаёт играть. Или это у меня в ушах.

— Твоя сестра убивает людей?

— Моя сестра пришивает их обратно, — говорит Аркадий. — Разница в том, что она думает, будто это одно и то же.

Он приседает рядом. Смотрит на женщину. Потом на меня.

— Мария, послушай. Лидия потеряла сына. Его вычеркнули. Я... — Он замолкает. — Я был тем, кто это сделал.

— Ты убил её сына?

— Я вычеркнул его имя. Для мира он перестал существовать. Для неё — нет.

— Сколько ему было?

— Семь.

Я смотрю на женщину в сером пальто. На красную нитку. На жетон.

— И теперь она делает то же с другими?

— Она делает хуже. — Аркадий встаёт. — Она убивает тех, кого уже нет. И возвращает их имена через смерть. Каждое тело — стежок. Каждая станция — узел. Она хочет сшить всех вычеркнутых обратно.

— Зачем?

— Чтобы они вспомнили себя. — Он смотрит на меня. — И чтобы кто-то вспомнил её сына.

— Она сумасшедшая?

— Нет. — Он качает головой. — Она очень точная. Она никогда не ошибается в именах. Она ошибается только в одном: считает, что смерть — это шов.

— А разве нет?

— Смерть — это узел, — говорит он. — Узел нельзя распустить. Его можно только обрезать.

Он рассказывает быстро, как будто боится, что не успеет. Лидия старше его на семь лет. Она была портнихой, держала ателье на Кузнецком. Муж ушёл, сын остался. Мальчик рисовал трамваи и знал наизусть все станции Сокольнической линии. В 2019-м его вычеркнули. За то, что он видел.

— Что он видел?

— То же, что твой сын. Имена. Он говорил: «Мама, у дяди на груди написано». Лидия смеялась. Потом перестала.

— Кто его вычеркнул?

— Я. — Аркадий смотрит в пол. — Мне дали адрес. Мне не сказали, кто там живёт. Я пришёл, открыл дверь и увидел сестру. Она держала его за руку. Я мог уйти. Я не ушёл.

— Почему?

— Потому что если бы я ушёл, пришёл бы другой. А другой не стал бы спрашивать.

— Ты его спросил?

— Я спросил, как его зовут. Он сказал: «Миша». Я сказал: «Закрой глаза». Он закрыл.

Аркадий замолкает. В переходе капает вода. Где-то наверху смеётся женщина.

— После этого Лидия пришла в Канцелярию, — говорит он. — Ей предложили сделку. Она получила доступ к картотеке. Все, кого вычеркнули, — её клиенты. Она находит

их, возвращает имя и убивает. Канцелярия закрывает глаза: мёртвые не болтают. Она считает, что вернула сына. На самом деле она вернула себе право ненавидеть.

— А ты?

— А я получил имя и стал сторожем. — Он усмехается.
— Это называется «исправление». В Канцелярии умеют шутить.

— У неё есть мастерская, — говорит он. — На Кузнецком. Бывшая прачечная. Там картотека. Каждый вычеркнутый — карточка. Она их переписывает от руки. Говорит, что рука помнит лучше.

— Ты там был?

— Один раз. Она показала мне карточку Миши. На обороте — его рисунок. Трамвай. Я спросил: «Зачем ты это делаешь?» Она сказала: «Чтобы ты не забыл».

— Ты не забыл?

— Я помню каждый день. Это не память. Это наказание.

Из глубины перехода появляется женщина с шваброй и ведром. Ей лет шестьдесят, в оранжевом жилете, на руках резиновые перчатки — те самые, размер семь. Она останавливается, увидев нас.

— Опять, — говорит она. — Я говорила, что здесь нельзя сидеть. Здесь сквозняк.

— Вы её видели? — спрашиваю я.

— Кого?

— Женщину. В сером пальто.

Уборщица смотрит на тело. Потом на меня. Потом опять на тело. В её глазах нет испуга. Есть узнавание.

— Нина Сергеевна? — говорит она.

Аркадий поднимает голову.

— Вы её знаете?

— Она вела географию. В школе на Ордынке. — Уборщица подходит ближе. — Я у неё училась. В восемьдесят девятом. Она нам карту показывала. Говорила: «Дети, Москва стоит на семи холмах, а живёт на одном». Мы смеялись.

— Вы помните её имя? — спрашиваю я.

— Конечно. Нина Сергеевна Крылова. — Женщина хмурится. — А почему вы спрашиваете? Она же умерла. Давно. Ещё при Ельцине.

— Она умерла сегодня, — говорит Аркадий.

Уборщица смотрит на него, как на дурака. Потом снова на тело. Потом медленно снимает перчатку и крестится.

— Господи, — говорит она. — Я же её помню.

— Она была строгая, — говорит уборщица. — Но справедливая. Однажды я не выучила реки и получила двойку. Она сказала: «Ты не знаешь, откуда течёт Волга. Значит, ты не знаешь, откуда течёшь ты». Я обиделась. А потом всю жизнь вспоминала.

— Вы можете это записать? — спрашиваю я.

— Что записать?

— Её имя. И то, что она говорила.

— Зачем?

— Чтобы она была.

Уборщица смотрит на меня. Потом на Аркадия. Потом достаёт из кармана жилета огрызок карандаша и чек из магазина. На обороте чека пишет: «Нина Сергеевна Крылова. Учитель географии. Школа на Ордынке». Буквы у неё крупные, как у первоклассницы.

— Вот, — говорит она. — Держите.

Я беру чек. Бумага тонкая, кассовая, с синими цифрами. Это самая настоящая вещь из всех, что я сегодня видела.

Я смотрю на чек и думаю: у меня тоже была учительница. Я потеряла её имя сегодня утром. Может быть, она тоже где-то лежит. Может быть, её тоже кто-то помнит. Я не помню даже, как она выглядела. Я помню только запах мела и то, что она говорила: «Ветрова, не витайте в облаках». Хороший совет. Я всю жизнь витаю.

Сирена. На этот раз близко. Аркадий хватается меня за руку.

— Уходим.

— Мы не можем её оставить.

— Можем. — Он тянет меня. — Её найдут. И, может быть, сегодня её впервые за двадцать лет увидят.

Мы выходим из перехода наверх, в снег. Я оборачиваюсь. У колонны стоит человек в форме. Потом ещё один. Потом женщина с собакой. Они смотрят на тело. Они его видят.

Наверху, у выхода, нас останавливает молодой сержант с красными от ветра ушами.

— Гражданка. Вы там были?

— Проходила.

— Что видели?

— Снег.

— А конкретнее?

— Снег и женщину.

Он записывает. Потом говорит:

— Подождите.

— Мы не можем, — говорит Аркадий.

— Я не вам.

— Ей.

Сержант смотрит на меня. Потом на Аркадия. Потом опять на меня. Он молодой. Он думает, что если человек идёт уверенно, значит, ему можно идти.

— Идите, — говорит он. — Но недалеко.

Значит, Лидия добила своего. Женщина снова существует.

— Кто она? — спрашиваю я.

Аркадий не отвечает.

— Аркадий, кто она?

— Её звали Нина Сергеевна Крылова, — говорит он. — Она была учительницей. В 1998-м её вычеркнули за то, что она видела список. — Он смотрит на меня. — Теперь её увидят. Впервые за двадцать восемь лет.

— Она была первой, кого Лидия вернула?

— Нет. Первой была женщина в девяносто восьмом. Потом мужчина в две тысячи третьем. Потом женщина в две

тысячи одиннадцатом. Потом твой Павел. Лидия идёт по станциям, как по списку. Третья, шестая, девятая, двенадцатая. Она не торопится. Она говорит, что хорошая швея не торопится.

— А четырнадцатая?

— Четырнадцатая — её собственная. — Он смотрит на меня. — Она бережёт её для себя. И для Миши.

— Это же хорошо?

— Это ужасно, — говорит он. — Потому что цена — её смерть.

— Почему она не может просто вернуть имя? Без смерти?

— Потому что имя — это не бумажка. Это нагрузка. Человек, которого вычеркнули, держится на пустоте. Когда пустота заполняется, он падает.

— Это физика?

— Это хуже. Это люди.

— Она умерла не от болезни?

— Она умерла от имени. — Он идёт быстрее. — Когда тебе возвращают имя, ты вспоминаешь всё, что был должен забыть. Сердце не выдерживает. У неё было слабое сердце. Лидия знала. Лидия всегда знает.

— Аркадий.

— Да?

— Ты знал, что Павел на двенадцатой?

Он не отвечает.

— Ты знал.

— Я догадывался.

— Ты держал дверь?

— Мария.

— Ты держал дверь, когда его вычеркивали?

Он смотрит на меня. В его глазах — то же, что было в глазах Кузьмина. Жалость.

— Не сейчас.

— Когда?

— Когда дойдём.

— Ты обещаешь?

— Я не обещаю. Я говорю: когда дойдём.

Мы идём дальше. Я держу его за руку. Это не доверие. Это страх потеряться.

Мы идём к Красной площади. У лотка на углу Аркадий покупает два стакана чая. Чай в пластиковых стаканах, с крышками, кипятком. Он протягивает мне.

— Я не хочу.

— Пей. Это не помощь. Это топливо.

Я беру. Чай пахнет лимоном и пластмассой. Я делаю глоток. Пальцы у меня дрожат, и крышка стучит о зубы.

— Ты не ела с утра.

— Я не помню.

— Я знаю. — Он отхлёбывает. — Поэтому и говорю.

Мы стоим минуту. Мимо идут люди. Никто не смотрит. У всех свои пятницы.

Я считаю шаги. На седьмом шаге я забываю, как называ-

ется улица, по которой мы идём. На двенадцатом — имя человека, который держит меня за руку.

Я смотрю на него.

— Вы кто?

Он смотрит на меня. В его глазах — боль.

— Аркадий, — говорит он. — Я Аркадий. Твой друг.

— Хорошо. — Я киваю. — Аркадий.

Я записываю в тетрадь: «Аркадий. Друг. Не бояться».

— Ты записала? — спрашивает он.

— Записала.

— Прочитай.

— «Аркадий. Друг. Не бояться».

— Хорошо.

— Почему ты плачешь?

— Снег тает, — говорит он.

Мы идём дальше. Я держу его за руку и стараюсь не думать о том, что через минуту могу забыть и это.

Вычеркнуто: название улицы. Прости, улица. Я не помню, как тебя зовут.

Интерлюдия II. Протокол

В 17:40 майор Кузьмин стоял в переходе и смотрел, как врач накрывает женщину полиэтиленом.

Полиэтилен был прозрачный, и через него было видно лицо. Кузьмин знал, что через полчаса лицо начнёт менять цвет, через час его накроют вторым слоем, а к утру оно станет тем, чем становятся все лица в морге. Он видел это сотни раз. Каждый раз он думал одно и то же: человек уходит, а лицо остаётся на несколько часов, как будто не знает, что уже не нужно.

— Саша, — сказал Bystrov. — Ты меня слышишь?

— Слышу.

— Я спрашиваю третий раз. Ты хочешь протокол сейчас или утром?

— Сейчас.

Быстров был судмедэкспертом тридцать лет. У него были руки хирурга и юмор патологоанатома. Он говорил с трупами так же, как с живыми, — ровно, без пафоса, с редкими паузами, чтобы собеседник успел соврать.

— Причина смерти — остановка сердца, — сказал он. — Но сердце у неё было здоровое. Для шестидесяти двух лет — идеальное. Ни рубцов, ни инфарктов. Как у сорокалетней.

— Значит, не сердце.

— Значит, не сердце. — Быстров присел на корточки. —

Смотри. На губах лёд. В лёгких — снег. Не вода. Снег. Как будто она дышала на улице, а потом её внесли сюда.

— Она и была на улице.

— На улице было минус восемь. В переходе — плюс двенадцать. Снег в лёгких должен был растаять. Он не растаял.

— Быстров посмотрел на него. — Я такое видел один раз. В девяносто третьем. Мужик утонул в проруби, а через сутки его нашли в подвале. В лёгких — вода из проруби. В подвале — сухо. Мне тогда сказали: «Пиши, что утонул». Я написал.

— А сейчас что писать?

— Сейчас я напишу: «Причина смерти не установлена». Это честно. — Он поднялся. — Но если хочешь моё мнение, её убили не здесь и не сегодня.

— А когда?

— В девяносто восьмом.

Кузьмин посмотрел на него.

— Ты шутишь.

— Я никогда не шучу до вскрытия. — Быстров кивнул на тело. — У неё во рту жетон. Тридцать пятого года. У первой был такой же. У второй — тоже. Три женщины, три жетона, три красные нитки. Кто-то коллекционирует.

— Или кто-то метит.

— Или кто-то метит. — Быстров закрыл чемоданчик. — Ещё одна деталь. Пальцы.

— Что с пальцами?

— Гладкие. — Он взял её руку в перчатке и поднял. — Ни

отпечатков, ни папиллярных линий. Как у новорождённой. Я пробовал снять — не снимается. Как будто кожа стёрта.

— Это возможно?

— Всё возможно, Саша. Вопрос в том, кто за это платит. Кузьмин достал блокнот.

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА МЕСТА
ПРОИСШЕСТВИЯ г. Москва, парк «Зарядье»,
подземный переход, 16:05–17:20. Труп женщины, на
вид 60–65 лет, без документов. Одежда: пальто
серое, драповое, без бирок; обувь — ботинки
кожаные, разношённые. При себе: жетон Московского
метрополитена (1935 г.), напёрсток стальной,
фотография женщины с ребёнком (неизвестные). На
подкладке пальто — красная нить, пришитая к шву.
Следов борьбы нет. Причина смерти не установлена.
Майор уголовного розыска А. И. Кузьмин.

Он закрыл блокнот. Потом снова открыл и дописал: «Проверить по архиву пропавших за 1998 год».

У второй женщины, той, что нашли у Лубянки, в кармане был ключ. Латунный, маленький, с надписью «Дверь помнит». Кузьмин возил его в лабораторию. Эксперты сказали: следов нет, металл старый, но масло свежее. Машинное. «Как будто ключом только что открывали что-то тяжёлое».

— Саша, — сказал Быстров. — Тут ещё вот что.

Он протянул ему прозрачный пакет. В пакете лежала фотография. Молодая женщина с ребёнком на руках, у метро. Женщина смеялась.

— Это не она, — сказал Кузьмин.

— Это не она. Это та, что была у первой и у второй. Одна и та же фотография. — Быстров помолчал. — Ты её знаешь?

— Знаю.

— Кто она?

— Ветрова. Инженер метро. Тридцать один год. Сын, девять лет. — Кузьмин смотрел на фотографию. — И она была здесь двадцать минут назад.

— Ты её задержал?

— Отпустил.

— Почему?

— Потому что она не врёт. — Кузьмин убрал пакет в карман. — Она просто не помнит.

Он вышел из перехода. Наверху шёл снег, и туристы фотографировались у стеклянного купола. Никто не смотрел на оцепление. В Москве оцепление — это такой же пейзаж, как церковь и реклама.

В машине он позвонил матери.

Она взяла трубку после пятого гудка.

— Кто это?

— Саша.

— Саша ушёл.

— Мама, это я.

— Саша ушёл на работу. — Пауза. — Вы его видели?

— Видел.

— Скажите ему, чтобы он поел.

— Скажу.

Он слушал гудки. Потом сказал в трубку:

— Я вернусь.

Она не слышала.

В отделе его ждал полковник Бурцев. Бурцев был из тех людей, которые всегда стоят у окна, даже когда за окном темно, — чтобы собеседник видел силуэт.

— Три тела за две недели, — сказал Бурцев. — Два в центре. Одно — в двух шагах от Кремля. Пресса уже пишет «серийный убийца». Мне нужен кто-то к понедельнику.

— У меня нет никого.

— Есть. — Бурцев положил на стол фотографию. Мария Ветрова, снятая скрытой камерой у храма. — Она была на всех трёх местах.

— Она была на трёх местах, потому что ходит по пятницам. Это её маршрут.

— Маршрут?

— Она инженер. Проверяет эскалаторы.

— В Зарядье нет эскалаторов.

— В Зарядье есть переход.

Бурцев вздохнул.

— Саша. Я тебя знаю двадцать лет. Ты не дурак. Скажи мне, что ты думаешь.

— Я думаю, что кто-то убивает женщин, которых никто не ищет.

— Зачем?

— Чтобы их нашли.

— Это бред.

— Это версия. — Кузьмин смотрел на фотографию. — У меня есть ещё одна.

— Какая?

— Что они умерли давно. И кто-то их возвращает.

Бурцев долго молчал. Потом сказал:

— Иди домой. Завтра в девять — совещание. И принеси мне что-нибудь, кроме мистики.

Кузьмин вышел. В коридоре он достал телефон и набрал номер архива.

— Здравствуйте. Мне нужны пропавшие без вести за март девяносто восьмого. Женщины, пятьдесят — шестьдесят пять лет. Учителя.

— Это долго.

— Я подожду.

Он ждал двадцать минут. Потом ему прислали скан.

На скане была карточка: «Крылова Нина Сергеевна, 1962 года рождения, учитель географии, школа № 17 на Ордынке. Пропала без вести 14 марта 1998 года. Заявление подано коллегой. Особые отметки: при себе имела напёрсток».

К фотографии была приклеена другая фотография — с места находки. Кузьмин смотрел на две фотографии и не понимал, почему женщина на них одна и та же, хотя между снимками двадцать восемь лет.

Он набрал номер школы.

— Школа номер семнадцать.

— Здравствуйте. Я по поводу Нины Сергеевны Крыловой.
Пауза.

— Она умерла, — сказала женщина. — В девяносто восьмом.

— От чего?

— От сердца. — Ещё пауза. — А почему вы спрашиваете?

— У нас есть тело.

— Что?

— Тело женщины, похожей на неё. Сегодня.

В трубке стало тихо. Потом женщина сказала очень медленно:

— Этого не может быть. Я была на её похоронах.

Кузьмин закрыл глаза.

— Спасибо, — сказал он. — Извините.

Он положил трубку и сидел неподвижно. За окном шёл снег. В коридоре кто-то смеялся. Телефон зазвонил снова.

— Саша, — сказал Быстров. — Я тут посмотрел ещё раз.

— И что?

— У неё в кармане была ещё одна вещь. Я её сначала не заметил. — Пауза. — Это ключ. Латунный. С надписью.

— С какой надписью?

— «Дверь помнит». — Пауза. — И ещё, Саша. Он тёплый.

— Что?

— Ключ тёплый. Я достал его из пакета, а он тёплый. На улице минус восемь, в морге плюс четыре, а он тёплый. Как

будто его только что держали в руке.

Глава 4. Станция четвёртая. Мать

Пятница, 16:40. Красная площадь.

На площади людно. Туристы фотографируются у Лобного места, дети едят мороженое, кто-то играет на гитаре «Кино». Снег на брусчатке утоптан до серого блеска. Я иду мимо Мавзолея и не смотрю направо. У меня есть правило: на этой станции не смотреть направо.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.